

Максим Горький

Горемыка Павел



Максим Горький
Горемыка Павел

«Public Domain»

1894

Горький М.

Горемыка Павел / М. Горький — «Public Domain», 1894

Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь» в 1894 году в двадцати пяти номерах газеты: с номера 80 – 8 апреля по номер 152 – 6 июля. В письме к А.М.Горькому от 7 января 1910 года доктор В.Н.Золотницкий сообщал, что в среде нижегородских знакомых Горького возникла мысль об издании сборника его ранних произведений с благотворительной целью. Золотницкий упоминал при этом и повесть «Горемыка Павел». Прося разрешения на публикацию, Золотницкий указывал, что ранние рассказы будут собраны и присланы Горькому на просмотр. В письме (без даты) с острова Капри Горький ответил, что он будет очень благодарен, если В.Н.Золотницкий и другие лица, заинтересованные в издании его рассказов, помогут их собрать. Горький указывал, что более подходящим для данной цели, возможно, окажется «Горемыка Павел», просил достать комплект «Волгаря» и перепечатать повесть на машинке. Просьба, по-видимому, была выполнена – в Архиве А.М.Горького сохранилась машинопись с текстом рассказа, являющимся перепечаткой газетной публикации. Текст машинописи имеет авторские исправления. На первых четырёх листах правка очень значительна, дальнейший текст до двадцать второго листа содержит замены и вычерки отдельных слов. Исправленный А.М.Горьким текст следует считать началом второй, незаконченной редакции повести. В письме от 18 августа 1930 года к директору Литературного музея имени А.М.Горького в Нижнем Новгороде А.И.Елисееву А.М.Горький сообщал, что повесть «Горемыка Павел» перед публикацией в «Волгаре» «портили в две руки: редактор „Волгаря“ А.А.Дробыш-Дробышевский, человек сухой, самовлюблённый и упрямый, вычеркнул из повести фигуру повара, которая проходила с начала повести до конца, а затем цензор» (письмо опубликовано в «Комсомольской правде», 1939, 21 июня). В собрания сочинений повесть не включалась. Так как новая редакция повести была только начата, – в настоящем издании «Горемыка Павел» печатается по тексту газеты «Волгарь».

© Горький М., 1894
© Public Domain, 1894

Содержание

Горемыка Павел	6
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Горемыка Павел

Родители моего героя были очень скромные люди и потому, пожелав остаться неизвестными обществу, положили своего сына под забор одной из самых глухих улиц города и благо-разумно скрылись во тьме ночной, очевидно, не ощущая в своих сердцах ни гордости своим произведением, ни столько сил, сколько нужно для того, чтоб создать из своего сына существо, на родителей его не похожее.

Последнее соображение, – если только они им руководствовались в ту ночь, когда решили передать своё дитя на попечение общества, – а что они решили именно так, на это указывало пришпиленное булавкой к тряпкам, в которые они его окутали, лаконическое сообщение на клочке почтовой бумаги: «Крещён, зовут Павлом», – последнее соображение, говорю я, рисует родителей младенца Павла людьми и не глупыми, ибо прямая обязанность громадного большинства отцов и матерей заключается именно в том, чтоб всячески предохранить своих детей от тех привычек, предрассудков, дум и поступков, на которые они, родители, затратили весь свой ум и всё сердце.

Младенец Павел, когда его ткнули под забор, некоторое время относился к этому факту как истый фаталист, лежал неподвижно и хладнокровно сосал сунутую ему в рот жвачку из хлеба, завёрнутого в кисейную тряпочку, а когда это ему надоело, то он вытолкнул её изо рта языком и издал некоторый звук, почти что не поколебавший тишины ночи.

Ночь была августовская – тёмная и довольно свежая, – чувствовалась близость осени, и над младенцем Павлом через забор, под который его ткнули, свешивались гибкие сучья берёзы; на них уже было много жёлтых листьев, и немало таких листьев лежало на земле вокруг младенца Павла, а порой – очень часто – они беззвучно отрывались и медленно падали на землю, раздумчиво кружась в воздухе, влажном и полном густых испарений, – днём шёл дождь, а к вечеру вошло солнце и успело сильно согреть землю.

Иногда листья падали и на красную рожицу младенца Павла, еле видную в густой бахrome лохмотьев, в которые его плотно завернула заботливая рука матери; младенец Павел от этого морщился, моргал глазами и возился до той поры, пока лохмотья не развернулись, и не открыли его маленькое тельце влиянию ночной сырости. Тогда он, почувствовав себя свободным от пут костюма, поднял ногу, потащил её в рот и стал сосать, всё ещё молча, но с очевидным удовольствием.

Маленькая оговорка, если позволите! О поведении младенца Павла во время жития его под забором я говорю а priori, сам я сему свидетелем не был; это видело только небо, тёмное августовское небо, прекрасное, глубокое, щедро усыпанное золотыми звёздами и, как всегда, холодно равнодушное к делам земли, несмотря на то, что она так много льстит ему устами своих поэтов и так горячо молится сердцами верующих людей.

Если бы я видел его, младенца Павла, там, под забором, то я, конечно, преисполнился бы горячим негодованием к его родителям, глубоким состраданием лично к нему и, немедленно позвав полицию, отправился бы домой с чувством искреннего уважения к себе; всё это, несомненно, сделал бы и всякий другой на моём месте, сделал бы, я твёрдо верю в это. Но в то время там никого не было, и, таким образом, жители того города, в котором происходило описываемое мною, упустили очень удобный случай проявить свои лучшие чувства, каковое проявление, как известно, составляло бы преобладающее и любимое занятие людей, если бы с ним не конкурировало так успешно нечто, прямо противоположное ему.

Но в то время там никого не было, и младенец Павел, наконец, иззяб. Он выпустил изо рта ногу и стал нарушать тишину ночи сначала тихими всхлипываниями, потом громким плачем.

Ему не пришлось заниматься этим особенно долго, через полчаса к нему подошёл человек, плотно закутанный во что-то, делавшее его похожим на большойдвигающийся пень, –

подошёл, наклонился и густо прогудел над ним «ах, подлые», ожесточённо плюнул в сторону и, подняв его с земли, стал закутывать в тряпки и осторожно, поскольку мог, водворять себе за пазуху, одновременно с этим оглашая воздух пронзительным, рокошущим свистом, который совершенно поглощал плач младенца Павла.

– Ище, ваше благородие, одного подшвырнули, дьяволы! Теперича третий будет за лето-то. И анафемы только! Блудят, блудят и... опять блудят. Тьфу вам!

Это был ночной сторож Клим Вислов, человек строгой нравственности, что, впрочем, не мешало ему быть горчайшим пьяницей и горячим приверженцем трёхэтажной эрудиции.

– Тащи его в часть!

Это приказание было дано околоточным надзирателем Карпенко, первым донжуаном в третьей части города, имевшим рыжие усы в стрелку и неотразимые серые глаза, которыми он в кратчайший срок мог испепелить сердце любой барышни, – и это приказание относилось к будочнику Арефию Гиблому, человеку мрачному, сутулому, любителю одиночества, книжек и певчих птиц и страшному ненавистнику многословия, извозчиков и женщин.

Он взял младенца Павла на руки и понёс было его, но вдруг остановился, развернул тряпки, закрывавшие ему лицо, несколько мгновений посмотрел на него, ткнул своим пальцем в пухлую щёчку ребёнка и, наклонившись к нему, скорчил страшную рожу и щёлкнул языком.

Младенец Павел, снова молчаливо сосавший сунутую ему в рот жвачку, не поинтересовался разобрать, какие именно чувства желал выразить Арефий Гиблый своими странными манипуляциями, и ответил на них только тем, что поднял брови, чем не выразил ясно и понятно ничего определённого.

Тогда Арефий Гиблый улыбнулся так, что у него усы вскочили на нос, а громадная и густая чёрная борода тряхнулась и отодвинулась к ушам, – и громко на всю улицу спросил младенца Павла: «Штука ты? У?!», на что тот утвердительно кивнул головой и нечто промычал.

– Тча-а! Уффы!.. Крю-крю-крю! Гур-бур!.. – как слон, заворковал Арефий Гиблый и, присев на тумбочку рядом с фонарём, чего-то ожидая, уставился в лицо младенца Павла.

Тот недоумевал, не понимая жаргона Арефия, и несколько раз отрицательно качнул головой, не выпуская изо рта соски и равнодушно поводя бровями.

Тогда Арефий густо расхохотался.

– Не хочешь, значит? Ах ты... комар!

Но тут «комар», очевидно, убеждённый, что ему ничего не предлагали, разинул рот и широко раскрыл глаза – от недоумения или оттого, что он стал давиться соской.

Арефий торопливо дёрнул соску вон и затем озабоченно и пристально всмотрелся в лицо ребёнка, как бы желая убедить себя в том, что не разорвал ему рот.

Младенец Павел кашлял.

– Чши-и... чши и-и... – зашипел Арефий Гиблый, как локомотив, выпускающий пары, и стал размахивать ребёнком по воздуху в глубоком убеждении, что этот маневр остановит кашель. Но ребёнок кашлял всё громче.

– Эх ты, братец ты мой! – сокрушённо вздохнул Арефий и беспомощно оглянулся вокруг.

Улица спала. По обеим сторонам её мерцали редкие фонари; вдали они, казалось, стоят плотнее друг к другу, почти рядом, но улица там была темней и точно упиралась в какую-то чёрную стену, возвышавшуюся чуть не до небес, распростёртых над ней и улыбавшихся ей живыми, трепещущими лучами своих ярких звёзд.

Арефий посмотрел в противоположную сторону.

Там был город, масса тёмных, надвинутых одно на другое зданий и тоже бедные, но более частые огоньки фонарей, редкий, чуть слышный шум, который рождался и умирал лениво-равнодушно.

После этого осмотра Арефию сделалось как-то особенно тошно; он плотней прижал к своей грубой суконной груди младенца Павла, который теперь прокашлялся и собирался реветь, – прижал и глубоко вздохнул, посмотрев в отдалённые небеса.

– Пакость!..

Резюмировав столь красноречиво всё происшедшее, он встал с тумбочки и пошёл по улице к городу, потряхивая ребёнка на руках и стараясь делать это возможно более ровно и осторожно. Шёл он, поворачивая из улицы в улицу, долго и, очевидно, весь путь был отягчаем какими-то особыми, необыденными думами, потому что не заметил, как улицы то суживались, то расширялись, перерезывали одна другую, извивались – и вдруг вывели его на площадь. Но он и площадь заметил только тогда, когда очутился перед фонтаном с двумя фонарями по бокам его. Этот фонтан стоял среди площади, и Арефий уже прошёл часть.

Выругавшись про себя, он поворотил назад. Луч от фонаря через его плечо упал на личико младенца Павла, плотно прижатое к серому сукну его шинели.

– Спит! – прошептал Арефий и, не отрывая глаз от лица ребёнка, почувствовал у себя в горле неприятное щекотание. Чтоб избавиться от этого ощущения, он высморкался негромко и задумался о том, что, пожалуй, было бы лучше, кабы дети с первых дней жизни могли вникать в безалаберную премудрость её. Будь это так, будущий человек на его руках не спал бы так крепко, а, наверно, кричал бы во всю мочь.

Арефий Гиблый, как полицейский и пожилой человек, жизнь знал и знал, что коли не заявить о себе хотя бы криком, так на тебя даже полиция внимания не обратит.

А если ты не сумел обратить на себя чьего-либо внимания, то погиб, ибо одному в жизни долго не устоять. Этот легкомысленный и покойный ребёнок погибнет, ибо он спит.

– Эх ты, братец! – укоризненно произнёс Арефий, входя под своды части.

– Ты откуда? – спросил его серый собрат, вдруг появляясь перед ним.

– С поста.

– Это чего? – ткнул тот пальцем в бок младенца Павла и сладко зевнул.

– Тише ты, чёрт! ище ребёнок.

– Ишь их, дьяволиц, порет!

– Дежурный кто?

– Гоголев.

– Спит?

– Дрыхнет!

– А тётка Марья тоже дрыхнет?

– И она спит. Чего же ей не спать?

– У-гу! Это верно!.. – протянул Арефий Гиблый и задумался, не двигаясь с места.

– Скоро сменюсь я и тоже спать! – заметил собрат и хотел уйти.

– Погоди-ка, Михайло! – дёрнул его за рукав Арефий свободной рукой и вдруг почему-то конфиденциально зашептал: – Ежели его теперь к тётке Марье, ты как?

– Больно ей нужно! – скептически усмехнулся Михайло, заглянув в лицо спокойно спавшего младенца Павла. – Свои, брат, хуже горькой редьки надоели.

– Да ведь только на одну ночь! – убедительно заявил Арефий.

– Да мне что ж? только она, уж верно, пошлёт к чёрту. Давай ин понесу.

Арефий осторожно перевалил младенца Павла с рук на руки Михаилу и на цыпочках пошёл за ним по коридору, внимательно заглядывая в лицо спящего младенца через плечо товарища и удерживая дыхание, между тем как тот во всю мочь громыхал своими тяжёлыми сапогами по каменному полу коридора. Они подошли к двери.

– Ну, я подожду! – шёпотом заявил Арефий.

Его товарищ отворил дверь и скрылся за ней.

Арефий стоял и чувствовал некоторое томительное беспокойство, от которого его не избавляло ни вырывание ниток из обшлага шинели, ни усиленное разглаживание бороды, ни тем паче ковыряние стеной штукатурки пальцем.

За дверь слышалось глухое ворчанье.

– Обругалась, а взяла! – отворяя дверь, произнёс Михайло и почему-то изобразил на своём бритом лице торжество победителя.

– Ну вот! – свободно вздохнул Арефий Гиблый и направился с товарищем к выходу.

– Прощай, брат! иду на пост.

– Валяй! – равнодушно ответил Михаиле и ткнулся в угол, шурша каким-то сеном, очевидно, приготавливая себе ложе.

Арефий медленно шагнул с первой ступеньки на вторую, а когда опустил ногу на третью, то почувствовал, что ноги у него как бы прилипали к каменным плитам.

Так простоял он несколько минут, и, наконец, в коридоре, скудно освещённом керосиновой лампой, произошёл следующий диалог:

– Михайло?!

– Ну, ещё что?

– Ты его завтра сдашь?

– Ребёнка, что ли? Ну, конечно, сдам.

– В родильный?

– Нет, в кузницу.

Наступила пауза. Михайло в глубине коридора шуршал сеном и ёрзал по полу сапогами. Арефий смотрел на сонный город, развернувшийся перед его глазами. Ночная тьма спаяла все дома один с другим в серую плотную стену, и тёмные линии улиц казались глубокими брешами в ней. Вон там, в том конце города, налево, находится родильный дом. Это очень большое каменное здание, холодно белое, строгой физиономии, с большими равнодушными и пустыми окнами без цветов, без гардин...

– Умрёт он там! – буркнул Арефий.

– Ребёнок-то? Наверно, умрёт. Они там редко не умирают, потому – чистота, порядок...

Но тут Михайло, врасплох захваченный сном, звучно всхрапнул и оставил своё мнение о гибельности чистоты и порядка для чистых младенческих душ без подтверждения и объяснения.

Арефий Гиблый постоял ещё немного и отправился на свой пост.

Он пришёл туда, когда уже ночь побледнела и воздух посвежел от близости утра. Его будка помещалась почти в поле и теперь показалась ему более одинокой и отдалённой от всего, чем казалась ему раньше. Но раньше это не рождало в нём никаких особенных дум и ощущений, а сегодня – родило. Он сел на скамейку перед дверью в будку. Вокруг скамейки разрослись уродливые кусты бузины, и его серая, сутулая фигура слилась с их тёмным фоном.

Он думал. Это были тяжёлые, неповоротливые думы, и много нужно было времени, чтоб они, наконец, оттиснулись в голове Арефия в форму вопроса: имеют ли люди право родить детей, коли не могут вывести их в люди?

Арефий Гиблый чуть не свихнул себе мозгов, когда, наконец, разрешил этот вопрос суровым и тяжёлым «нет, не имеют!» Тогда ему стало легче, он глубоко вздохнул и, погрозив в пространство кулаком, сквозь зубы произнёс:

– Анафемы подлые!

Всходило солнце, и его первые лучи, ударяя в окна будки, отражались на их стёклах огненным золотом, отчего эти два окна казались громадными смеющимися глазами странного чудовища с острой, зелёной головой, вылезавшего из земли посмотреть на свет божий, причём кусты бузины, всползавшие на крышу, можно было принять за растрёпанные кудри, а щели над дверью будки – за морщины на весёлом, улыбавшемся челе чудовища.

В двенадцать часов дня он сидел у тётки Марьи, женщины с резкими чертами лица, с зелёными глазами, в грязном платье с высоко подоткнутым подолом и с засученными рукавами. Каждое её движение было целой поэмой боевой жизненной энергии.

Арефий Гиблый имел много сказать ей, очень много и, с непривычки к этому, чувствовал себя весьма нелепо. Движения тётки Марьи, ровные и спокойные, подавляли его своей самоуверенностью и силой, но его женоненавистничество пробивалось всё-таки наружу, отражаясь в угрюмых взглядах на широкое Марьино лицо и в солидных плевках на пол.

Младенец Павел валялся на лавке в куче тряпья, заставленный соломенным стулом, и был углублён в гимнастические упражнения, улавливая свою ногу руками и потом стараясь втащить её в рот. Красная, пухлая нога не слушалась, и младенец Павел, очевидно, не претендуя на неё, испускал одобрительные звуки.

– Ну, ты, антихрист! чего же думаешь делать теперь с ним? – заговорила Марья, садясь на стул против Арефия и отирая лицо фартуком. – Я не могу, не возьму. Отдай старухе Китаевой, она тебе за два рубля воспитает. Ребёнок здоровый, ему боле месяца уж. Покойный. Ей и отдай.

– А ежели уморит?

– Уморит! Чучело огородное! Чего она его будет морить-то? – дразнилась Марья.

– Чего?.. Баба, ну и...

– И фараон ты бессловесный! Снесу я его к ней, и всё. Вот, мол, тайный сын номера 71-го. Ха! ха! ха!.. Глупый ты пень. Уморит! али ребят-то не бабы нянчат, а вот такие шайтаны, как ты? баба!.. В бабе-то вся сила и есть! Кто вас, чертоговых, на ноги-то ставит? У... гарнизла тупоголовая!.. говорит ещё про чего-то!

– Ну, а ты всё-таки не того... не лай! – резонно заметил Арефий, стараясь не встречаться с глазами тётки Марьи, смотревшими на него сегодня как-то особенно внимательно и зорко.

– Ещё чего? Карахтер не переменить ли мне для тебя ради? Ска-ажите! Фря какая! Ежели у меня такой строгий разговор, то и быть ему таким до смерти моей.

Али с вами иначе как можно? Ещё дуть вас нужно бы ежечасно!

– Да ладно... Толкуй о деле.

Арефий ощущал непреодолимую потребность обругать елико возможно крепче задорную бабу и, борясь с этой потребностью, чувствовал себя всё более тяжко.

– Толкуй скорей, что мне сделать, да и уйду я. Мочи нет слушать тебя.

– Ах, какие мы нежные! Балда ты, балда!

И, наконец, после долгой речи, которой она, должно быть, исчерпала весь свой боевой задор и лексикон нелестных эпитетов, не переставая суетиться по тесной комнате, одновременно стряпая, что-то ушивая, кормя то того, то другого из ребят, рассованных ею на печку, за печку, за полог постели, покрикивая в окно на кур и снова возвращаясь к ребятам, то и дело высывывавшим головы и подававшим голоса из разных углов, – Марья встала, уперев руки в бока, перед Арефием и отчитала ему:

– Теперь иди ты прежде всего к частному и скажи: так и так, мол; ребёнка беру себе. Потом принеси мне два рубля, за месяц вперёд отдам Китаевой старухе, да с рубль кое на что, на рубашонки, на свивальники... ну, и другое. А потом – пошёл в болото! надоел, как кикимора!

Арефий поднялся, глубоко вздохнул и молча вышел.

Вечером к тётке Марье пришла старуха Китаева. Она была крива на левый глаз, имела лицо, весьма похожее и цветом и формой на дряблую редьку, её подбородок украшался маленькой седой эспаньолкой, она говорила скрипучим, тонким голосом и через два слова в третьё беспокоила того или другого из угодников божьих, кстати и некстати призывая его то в свидетели правдивости своих слов, то прямо так, без всякой видимой причины.

Тётка Марья сурово и сухо изложила ей обстоятельства дела, дала несколько инструкций и заключила всё это внушительной фразой:

– Да смотри же у меня!.. Знай край, да не падай! – и при этом погрозила старухе Китаевой пальцем.

А старуха Китаева сжалась в маленький комочек, низко кланяясь тётке Марье, и, рабски осклабясь, тихонько так, чуть не шёпотом и с некоторым восторгом от сознания собственного унижения, заявила:

– Тимофевна, мать родная! Али вы меня не знаете? Для кого как, а уж для вас... – и тут она покрутила головой, как бы не имея сил выразить всё то, на что она способна.

– То-то, что знаю я тебя, старушка божия! Н-да!..

Это было сказано многозначительно и далеко не лестным тоном для божьей старушки.

Младенец Павел всё молчал, лёжа на лавке. Он только тогда неодобрительно промычал что-то, когда старуха Китаева взяла его на руки, предварительно прошептав благоговейно «господи, благослови!» – а потом снова умолк, полный непонятного равнодушия к своей судьбе, и молчал уже всё время, пока не был вынесен на улицу. Здесь прямо в глаза ему ударило солнце, он зажмурился; но и это мало помогло. Тогда он замотал головой; но и это не помогло; солнце било в глаза и жгло тонкую кожу щёк. Он заревел.

– Ишь, пострелёнок! Там молчал, смирным притворялся, а чуть вынесла, так и заныл. Ну, лежи!

Старуха Китаева перекинула его с руки на руку и пошла дальше, думая про себя, что вот и ещё одного взяла; теперь стало пятеро. Маеты с ними много, а польза только та, что хоть досыта и не наешься, но и с голода не умрёшь.

Последние дни и ночи её жизни все сплошь истекают под аккомпанемент пяти вечно орущих от голода глоток, и нет ей ни минутки покоя и отдыха... О господи!..

Сквозь тусклые, позеленевшие от старости, побитые и узорчато заклеенные замазкой стёкла окон в апартаменты старухи Китаевой падают косые лучи солнца, и кажется, что они сморщились и побледнели от густого запаха аммиака, наполнявшего две низенькие комнаты с закопчёнными потолками, ободранными обоями и грязным, скрипучим и украшенным большими щелями полом.

Убранство первой комнаты, именуемой детской, – по-спартански просто: три длинные и широкие скамьи, застланные какой-то рваньёю, и больше ничего, а грязно так, что даже мухи, очевидно, не в силах обитать среди такой грязи, ибо, покружившись немного в пахучей атмосфере детской, они, обескураженные, быстро и с протестующим жужжанием вылетают в другую комнату или в сени через отворённую дверь, обитую чем-то, имеющим отдалённое сходство с тёмно-зелёной клеёнкой.

Другая комната отделялась от детской глухой дощатой переборкой с маленькой криво прорезанной дверью; прямо против двери стоял стол и на нём самовар, всегда ипохондрически шипевший и ворчавший, зелёный, пораненный во многих местах, инвалидно искривлённый наборк и, как нельзя больше, гармонировавший с общим убожеством помещения старухи Китаевой.

В обеих комнатах никого нет и ничего, кроме разочарованного жужжания мух да воркотни самовара, не слышно. Но впечатление необитаемости пропадает, если взглянуть в тёмный угол к двери: там на лавке в куче грязных тряпок копошится нечто живое.

Видна нога, искривлённая в дугу и поднятая на воздух, и, внимательно прислушавшись, можно разобрать еле слышное монотонное бормотанье.

Собственник этой ноги и ещё одной, такой же кривой, сухой и зелёной, – полуторагодовалый ребёнок, рахитик Хрен, названный так старухой Китаевой в момент раздражения против него. Она всех своих питомцев снабжала более или менее остроумными и меткими прозвищами. Прозвище Хрен как нельзя более шло к маленькому рахитику, старчески сморщенному, дряблему, фантастично искривленному болезнью, с маленьким сморщенным лицом, на котором застыло неизменное выражение горького недоумения, точно он пытался догадаться, кто

и зачем это над ним подшутил так зло и жестоко, создав его на свет божий калекой, пытался догадаться об этом и, убеждаясь в тщете таких попыток, вечно болел душой.

Он целые дни лежал тут в углу и, поднимая вверх то ту, то другую из своих кривых ног, пристально и долго рассматривал их глубокими глазами с тем поразительно сосредоточенным и грустно-серьёзным выражением в них, которое так часто сияет во взгляде больных детей, – рассматривал их и тихо-тихо бормотал что-то бледными, бескровными губами, открывавшими беззубые дёсны и покрытый жёлтым налётом маленький язык. Руки у него были сведены в кольца, и кисти их упирались в подмышки, он совершенно не двигал ими; ноги по колена были здоровы, а от колен дугообразно изгибались внутрь, перекрещиваясь у щиколоток. Иногда изучение своих ног, очевидно, надоедало ему, и он всё с тем же неизменным выражением горького недоумения подымал свои глаза на потолок, где дрожало солнечное пятно от одного из смотревших в окно лучей, отражённого ушатом с водой, стоявшим у порога. Но, очевидно, предчувствуя, что близкое знакомство с солнечными лучами ему не нужно и что всё, что есть на земле, скоро исчезнет для него вместе с его способностью видеть и думать, вместе со всем им, бедным, дряблым Хреном, которому в близком будущем предстоит переселиться с земли в землю, – он отводил свои серьёзные глаза от потолка и снова устремлял их на ноги, которые, очевидно, интересовали его больше, чем всё остальное.

Он жил у старухи Китаевой вот уж девятнадцатый месяц, а она получила деньги за его воспитание только за два месяца и с большим нетерпением ждала, когда он «опростает квартиру», как иносказательно она выражалась.

Она ходила однажды на квартиру его матери, маленькой, анемичной и сутулой девушки-швейки, и нашла её еле живой, лежащей на койке.

– Что же, матушка, – сказала старуха Китаева, садясь на койку, на которой та лежала, почти не двигаясь, – родить-то родила, а кормить сила не взяла? Непорядок!

Не обязалась ведь я ваши-то грехи на своём горбу носить. Денежки пожалуй, а то ребёнка бери, я ведь не благодетельница какая-нибудь.

Мать широко открыла свои голубые тусклые глаза, и в них выразилось много скорби и ужаса.

– Бабушка! – сдавленным шёпотом заговорила она, – заплачу! Всё до копейки, до гроша заплачу! С живой сдеру с себя шкуру, продам и заплачу! В проститутки пойду!..

Потерпи!.. Потерпи, милая! По-ожалей меня него, бедного мальчика... а... а... а... пожалей!..

Старуха Китаева слушала её стоны, смотрела, как по впалым, иссохшим щекам катились крупные слёзы и как нервно, часто подымается впалая грудь матери горького Хрена.

– Ах вы, девки, девки! Блудни девки! Драть бы вас надо крепко, да! – внушительно проговорила она.

– Бабушка, эх!.. Любил ведь, жениться хотел!..

– Ну, это, матушка моя, песня старая. Слыхала я её раз тыщу.

Но старуха Китаева, видно, не только слыхала, а и сама певала эту песню, ибо невероятно сморщилась, согнулась, закашлялась, подумала и, поцеловав больную, ушла, строго наказав ей выздоравливать. Но та не послушалась её и вскоре умерла, а Хрен остался на попечении старухи Китаевой и вскоре надоел ей. Тогда она отвела ему в пожизненное пользование угол и, утешаясь тем, что долго он всё равно не протянет, успокоилась, поскольку могла.

Кроме Хрена, было ещё четверо ребят. За троих платили аккуратно, четвёртый собирал милостыню и сам с избытком оплачивал расходы на своё содержание. Это был шестилетний круглый, пухлый и розовый мальчуган Гурька Мяч, отчаянный озорник и большой фаворит Китаевой.

– Вор ты будешь первостепенный, Гурька! – похваливала она его вечерами, когда он, возвращаясь «с мира», выкладывал из котомки, вместе с кусками хлеба, конфорки от самоваров, дверные ручки, гири, детские игрушки, подсвечники, маленькие сковородки и прочую мелочь.

Гурька весело взглядывал на неё бойкими серыми глазёнками и подтверждал с полной уверенностью:

– Ух какой!.. Всё буду воровать – и лошадей!

– А как тебя усибируют будочники? а? – ласково спрашивала Китаева.

– А я убегу! – не затруднялся Гурька.

Тогда старуха Китаева давала ему на лакомства семишник и отпускала гулять.

Остальные трое, в числе которых был и Панька, ничем особенно не отличались друг от друга и пока ещё не успели нажить себе каких-либо определённых индивидуальных черт. Все они трое очень громко кричали, если их не кормили долго; то же они делали, если их окармливали; они кричали и тогда, когда их забывали напоить, и тогда, когда им в глотки насильно вливали воду. Кричали они и ещё по многим причинам, но никогда эти причины, и все вместе, и тем более каждая порознь, не казались старухе Китаевой достаточно уважительными, и она кричала на ребят гораздо усерднее, чем все они.

В общем, это были очень беспокойные ребята, требовавшие каждый день пищи, питья, сухих пелёнок, воздуха и прочих вещей, на которые они едва ли ещё могли иметь право, ибо ведь ещё не жили, а только собирались жить. Придерживаясь такой утилитарной точки зрения, старуха Китаева не очень ублажала их, очевидно, желая, чтоб они были более самостоятельны и умели сами себе добывать всё нужное для покоя тела и души.

День у старухи Китаевой начинался так: Первым из пятерых просыпался Гурька Мяч, спавший в комнате старухи Китаевой, отдельно от четырёх его совоспитанников. Просыпаясь, он тотчас же соскакивал с своей кровати, сделанной из ящиков, и, порывшись у себя под подушкой, вытаскивал оттуда длинное петушиное перо.

С ним он на цыпочках пробирался в детскую, осторожно, без скрипа отворял дверь и, так же осторожно ступая по полу, – который летом, высыхая, издавал ноющие звуки, а зимой глухо стучал половицей о половицу, – прокрадывался к одному из ребят, обыкновенно ещё спавших. Склонясь над ним, он начинал щекотать ему пером в носу.

Ребёнок вертел головой из стороны в сторону, потом смешно морщился и тёр нос кулачками, а Гурька, еле удерживаясь от смеха, надутый, как пузырь, и красный, продолжал своё весёлое дело. Наконец ребёнок просыпался и начинал орать благим матом, вскоре другой и третий ему дружно вторили и подтягивали, а Гурька кричал во всю мочь «бабушка» и, бегая от одного к другому, шипел над ними по-змеиному, строил им рожи, дул им в ноздри холодным воздухом и вообще забавлялся как бог на душу положит.

Подымался диковинный по силе и отсутствию гармонии концерт. Ребята кашляли, чихали, выли, захлёбывались и кричали, кричали так, точно их жарили на сковороде.

К серьёзному Хрену, уже принявшемуся за исследование своих уродливых ног, Гурька никогда не подходил, он боялся его сосредоточенно вдумчивых глаз. Раз как-то, когда Гурька подошёл к нему с намерением включить и его в круг своих операций, эти глаза остановились на лице Гурьки с таким выражением, точно это смотрел не ребёнок, а один из полицейских, которых Гурька по многим причинам не мог любить и всегда, при встрече с ними, почтительно сторонился. Гурька убежал и больше не подступался к рахитику.

– Ох-хо-хо!.. Завыли!.. заканючили!.. заскрипели!.. Дуй вас горой! – и проснувшаяся старуха Китаева припоминала некий нецензурный эпитет, произнося его во множественном числе и множество раз.

Гурька с серьёзной миной на роже входил и, надувшись пузырём, ташил со стола самовар в сени, где и начинал тотчас оглушительно греметь. Вообще этот весёлый малый любил производить шум, и чем грандиознее были размеры шума, тем счастливее он себя чувствовал.

Старуха Китаева нежно выбирала из-под ребят мокрые пелёнки.

– Ну, кикимора! Ори!.. Зевай!.. Гнуси!.. У, лягва болотная!..

Дома она не произносила имён святых отцов и мучеников, считая самоё себя мученицей и потому не призывая никого себе в помощь.

Ребята верещали, Гурька гремел и стучал, старуха Китаева ругалась, а другие жильцы дома и соседи просыпались, ибо из всего этого шума безошибочно выводили, что уже шесть часов утра.

Шум и рёв продолжался часа два, пока старуха не успевала переменить пелёнки, обмыть и накормить ребят. Затем она пила чай. Гурька уже давно попил, схватил котомку, сочинил из неё себе колпак, надел на голову и убежал «по миру».

Попив чаю, старуха брала ребят и тащила их на двор, где сажала в ящики, доверху наполненные сухим и мелким песком. Там ребята пеклись на солнце часа три-четыре до обеда, а старуха Китаева в это время стирала пелёнки, шила, чинила, ругалась, кормила ребят и всячески «разрывалась на тыщу кусков», как она говаривала.

Иногда к ней заходила приятельница, две и три. Это были женщины разных возрастов и двух профессий: за одну сажали в тюрьму, а другая, рано или поздно, непременно приводила в больницу.

С приятельницами появлялась бутылочка, две и три; через некоторое время воздух и уши обитателей улицы резала жестокая песня об «изменщике-мерзавце» или о другой ерунде в этом роде. Ещё через некоторое время раздавалась отборнейшая ругань, затем «караул!», а потом всякий, кто хотел, мог видеть, как старуху Китаеву приятельницы возят по земле за косы, или как старуха Китаева и одна из её приятельниц бьют вторую и третью, или вторая и третья усердно лупят их, – всё равно, результат драк всегда был сначала крепкий сон, а потом дружное примирение.

Ребята оставались бы во время всего этого одни и могли бы вполне свободно умереть с голода, предварительно разорвав себе криками лёгкие, но в момент, когда утомлённые боем воинствующие приятельницы и их подруга засыпали, в тёмном углу двора открывалась низенькая дверь вросшей в землю хибарки, и на свет божий являлась дородная, рябая женщина.

Она зевала, крестила рот, смотрела в небеса оловянными, ничего не выражавшими глазами и, подходя к одному из ящиков с песком, вытаскивала из него ребёнка. Затем грузно садилась в тот же песок и, медленно расстёгивая ворот платья, совала голову ребёнка себе за пазуху. Раздавалось жадное чмокание.

На лице дородной женщины не отражалось ничего, что позволило бы наблюдателю вывести заключение о том, из каких побуждений она старается. Её лицо было рябо, очень рябо и очень тупо, вот всё, что было в её лице в этот момент.

Покормив одного, она переходила к другому, к третьему и, наконец, шла в комнату к рахитику Хрену. Тут происходило нечто весьма интересное. Она брала его на руки и несла сначала к окну. Ребёнок щурил глаза от падавшего в них солнечного света и повёртывал голову. Дородная женщина шла вон из комнаты на двор и, сев там на ящик с песком, предлагала ребёнку молока. Он брал грудь и немного сосал, лениво чмокая губами, а она гладила его по зеленоватой головке и щекам. Потом, когда он кончал пить, она сажала его в песок и глубоко закапывала в него изломанное тельце рахитика, так что наверху оставалась одна его голова.

Это, очевидно, доставляло удовольствие Хрену; его глаза блестели чем-то новым, свежим, и сосредоточенное их выражение точно исчезало на время. Тогда дородная женщина улыбалась, но улыбка ничуть не красила её рябого лица, а только делала его шире. Она долго возилась с ребёнком и, когда замечала, что согретый песком и солнцем, он дремлет, брала его на руки и молча качала. Это ему нравилось, он улыбался сквозь дрему, а она целовала его и несла туда, в комнату. Потом выходила вон, всё с тем же деревянным лицом смотрела на ребят в песке, иногда, если они не спали, играла с ними, снова кормила их и исчезала в маленькую

дверь хибарки в углу двора. Оттуда она часто выглядывала, чуть-чуть приотворяя дверь, и если видела, что упоённая Китаева ещё спит, а на дворе уже вечер, то снова выходила, брала ребят и укладывала их спать.

Не подумайте, что я рисую добрую фею, о нет! Она ведь была ряба, у неё были громадные, отвислые груди, и ещё она была нема. Это просто жена одного пьяницы-слесаря.

Однажды он стукнул её по голове кулаком и так неудачно, что она откусила себе пол-языка.

Сначала он был очень опечален этим, а потом стал звать её немым уродом. Вот и всё.

Так вот как жили воспитанники старухи Китаевой – летом, а зимой они жили только потому немного иначе, что сидели в песке не на дворе, а на печи. Песок старуха Китаева считала главным фактором в деле физического воспитания и строила всё его исключительно на песке.

Воспитание младенца Павла не отличалось ничем от воспитания его собратий.

Впрочем, иногда над ящиком с песком, в котором он сидел, склонялась большая, чёрная голова, и чёрные, глубокие глаза смотрели на него внимательно и долго.

Сначала Панька пугался этого явления, но постепенно привык к нему и даже настолько освоился с ним, что стал запускать свои ручонки в лохматую бороду, щекотавшую его, нимало не пугаясь, когда из этой бороды прямо перед его носом сверкали крупные белые зубы и раздавалось глухое урчание. Иногда его вытаскивали из песка две могучие руки и качали в воздухе, высоко подбрасывая его маленькое тельце. Младенец Павел жмурился и молчал от страха, а когда его переставали качать, он ревел во всё горло, а громадный чёрный человек, стоя перед ним, кричал:

– Эй, старуха! Али не слышишь?!

– Слышу, батюшка, слышу! – недовольно отзывалась Китаева и ползла откуда-нибудь к ним.

– Нишкни, о... о... о!.. Нишкни, миленький! У... у... у!.. а... а... а!..

– Ревут они у тебя... – гудел на дворе бас.

– Ревут, батюшка, ревут. Все ревут, все как есть! – звенел иронически дребезжащий фальцет.

– Это оттого, что грязно.

– Грязно, батюшка, грязно. Очень грязно.

Бас недоумевающе урчал, а фальцет с торжеством покашливал.

– Лучше-то как нельзя? – возрождался бас.

– Можно, можно. Лучше, много лучше можно! – убедительно и насмешливо вновь звенел фальцет.

– Так ты что же?! – как бы угрожая, гудел бас.

– А ничего, родной, как есть ничего. Старуха я старая, немощная, бедная, вот что. И всё тут. И ничего больше! – покорялся фальцет.

Наступала пауза.

– Пш... чш... пши... и... и... и!.. Спи... и... и!.. Спи... и... и!.. – шипело в воздухе.

– Ну, прощай. Смотри же! – спускался бас до октавы.

– Смотрю, батюшка, поглядываю, – тихо отзывался фальцет, и на этом разговор заменялся шумом удалявшихся тяжёлых шагов.

Спустя после описанного четыре года в будке Арефия Гиблого появился ребёнок Панька. Это было коротконогое и большеголовое существо, с исковерканным оспой лицом и тёмными, глубоко ушедшими в орбиты глазами.

Молчаливый и вечно разглядывавший что-то никому не видимое, ребёнок Панька не нарушал своим присутствием в будке одинокой, установившейся жизни будочника, успешного

за эти четыре года нажать себе серебряные жилки седин в бороде и на голове да ещё более угрюмости и любви к книжкам о жизни святых угодников.

Дни Паньки текли равномерно и покойно. Рано поутру его будили птицы, начинавшие свой громкий разговор с первым лучом солнца. Панька открывал глаза и подолгу смотрел из своей постельки за печкой, как они прыгали в клетках с жёрдочки на жёрдочку, плескались в воде, клевали семя и пели, кто как умел, пели опьяняюще, задорно, но далеко не красиво. Весёлое треньканье чижей, спутываясь с однообразным свистом щеглят и дополненное смешным скрипом важных снегирей, сливалось в странную, журчащую струю звуков, капризно бившуюся в маленькой, закопчённой и тесной комнатке. Был ещё скворец, хромой и молчаливый. Он один висел в большой проволочной клетке над окном и, уцепившись одной ногой за жердь, медленно покачивался из стороны в сторону, поворачивая голову то туда, то сюда, и вдруг выпускал из горла тонкий, длинный свист, чем всегда приводил остальных птиц в молчаливое недоумение, продолжавшееся с минуту. Птицы вдруг прерывали свой нескладный концерт и оглядывались кругом, как бы желая вникнуть в смысл этого странного свиста, а сосед скворца по клетке, генеральски солидный снегирь, вдруг приходил в какой-то злой раж и, надувшись, как мяч, с заершившимися красными перьями на груди, вытягивал голову по направлению к скворцу и как-то не по-птичьи начинал хрипеть, шипеть и биться в клетке, раскрывая тупой клюв и высовывая толстый язык.

Но скворец уже снова не обращал ни на что внимания, покачивался на жерди и философски поводил головой из стороны в сторону. Его неподвижная чёрная, монашеская фигура оживлялась только тогда, когда в клетку заползал таракан; но и тогда это оживление продолжалось не более двух-трёх секунд. Во всём поведении скворца и, главное, в его свисте было что-то скептическое, глубокое, отрезвлявшее других; этот свист раздавался среди голосов остальных птиц, точно веское слово умудрённого опытом старика в хору пылких речей не жившей и оптимистически настроенной молодёжи. Иногда он вдруг начинал прыгать в клетке, встряхивал крыльями, раскрывал клюв, ощипывался, принимал важную, устойчивую позу, но... не свистел, а снова погружался в философское молчание, как бы находя, что не пришло ещё время сделать то, что он хотел сделать, или как бы убедившись в том, что задуманное им деяние не может изменить существующего порядка вещей.

Паньке скворец нравился больше всех других птиц, потому что он находил в нём много сходства с тятёй Арефой. Тятя Арефа тоже любил скворца; он всегда у него первого чистил клетку и ему первому давал свежее семя и воду.

Панька лежал утром в постели до той поры, пока с улицы не являлся тятя Арефа.

Почему-то тятя Арефа не любил свою будку и большее время дня и ночи проводил вне её. Тятя Арефа осторожно приотворял дверь, просовывал в неё свою чёрную голову и спрашивал:

– Проснулся?

– Проснулся! – отвечал Панька.

Тогда тятя входил в будку и начинал ставить самовар. Самовар был очень стар, весь обляпан грубыми, тусклыми заплатами из олова и вместо одной ручки имел кусок лошадиной подковы, прикрепленный к его боку проволокой. Поставив самовар, Арефий принимался чистить клетки, мести пол, а когда самовар начинал тонко пищать, то командовал Паньке густым басом, более густым, чем он говорил обыкновенно, что происходило, очевидно, от желания сделать его мягче:

– Вставай, умывайся, молись богу!

Панька вставал, умывался, молился богу и делал всё это ровно, спокойно, как взрослый и как глубоко убеждённый в важности и необходимости всего этого, молча, с строго нахмуренной рожцей, и эта мина, вместе с встрёпанными волосами и серьёзно блиставшими глазами, делала его похожим на маленького крота, крепко озабоченного предстоящим трудовым днём. Потом, когда он, умытый, причёсанный и под диктовку тяти Арефы прочитавший искус-

ственно глухим голосом утреннюю молитву, садился за стол перед уморительно курлыкавшим самоваром, – он терял уже много дикой прелести и становился немного смешным в своей молчаливой важности.

Чай пили молча, и молча же проводилась большая часть дня. После чая Арефа стряпал, то есть зимой топил печь, наливал в горшок воды, сыпал туда овощи, клал кусок мяса и совал горшок в огонь прямо рукой, несмотря на то, что имел ухват, а летом разводил на дворике за будкой маленький костёр, пёк в нём картофель или тоже варил что-нибудь, причём всё делал так, чтоб не заподозрить себя в заимствованиях от баб, с опасностью для своего здоровья отрицая необходимость употребления ухватов, скалок, мутовок и других благородных атрибутов женского труда.

Панька солидно похаживал около него, одетый в ситцевые клетчатые штанишки и красную кумачную рубашонку, пристально наблюдал за всем, что делает тятя Арефа, и изредка о чём-нибудь спрашивал его. Односложные, хмурые ответы не вызывали Паньку на продолжение разговора; он смотрел ещё некоторое время на возившегося в будке Арефия и потом уходил на улицу, сопровождаемый советом не ходить далеко.

Будка стояла на выезде из города и смотрела окнами в поле, недалеко от неё разрезанное стальной полосой реки, за которой тянулось снова поле, зелёное и приветливое летом и холодно скучное зимой. Затем горизонт запирала стена леса, днём неподвижная, тёмная, молчаливая, а по вечерам, когда за неё опускалось солнце, разукрашенная его лучами в пурпур и золото.

Панька ходил к реке и, примостясь на камнях между кустов ивняка, бросал в воду щепки, смотрел, как они уплывают куда-то далеко, как на воде играет солнечный луч и ветер покрывает её весёлой рябью, и часто, убаюканный немолчным шорохом волн о берег, засыпал.

Арефий, если был дома, приходил за ним и звал домой обедать. Обедали, а потом Панька снова уходил к реке и до вечера играл там один или с нищенкой Тулькой, косоглазой и вороватой девочкой лет восьми, грязной, крикливой и очень не любимой Арефой, который всегда гонял её из будки, если она заходила туда.

Наступал вечер, и Панька, посмотрев, как садится солнце и лес, живой и красивый, мертвеет, окутываясь вечерними тенями, – шёл в будку и ложился спать, при Арефе – предварительно помолясь богу, а без него – не молясь и даже не раздеваясь.

Так текли дни один за другим, однообразные, молчаливые, и, как всегда это бывает с днями, они, цепляясь один за другой, создавали недели, месяцы, годы...

Панька рос, его дни становились полнее, он задумывался над тем, куда течёт река, и над тем, что скрыто там за лесом, почему облака, такие большие, свободно плавают в небе, а маленький камень, брошенный вверх, падает обратно на землю, что делается там в городе, где крыши столпились так плотно друг к другу, и за городом, и вообще на земле, такой шумной днём и так грустно спокойной ночью. Но с такими вопросами он не обращался к Арефе, может быть, полагая, что человек, который так много молчит, ничего не знает, и немного стесняемый как этим молчанием, так и постоянно хмурой миной на лице Арефия.

Зато, когда приходил Михайло, – это случалось редко, – Панька забивался в угол и из него всласть наслаждался человеческой речью. Михайло говорил много и всегда начинал с вопроса Арефию:

– Ну что, монах, – жив? Жениться не думаешь? – и хохотал, тогда как Арефий оставался глубоко равнодушен.

Но Михайла ничуть не обижало это равнодушие; он вытирал платком своё чисто выбритое лицо и, поудобнее усевшись на лавке, «заводил волынку», как в минуты раздражения выражался его угрюмый товарищ.

– Сегодня, братец ты мой, пообедал я здорово. Кашу мне Марья состряпала из полбы, ох, какая каша!.. на молоке и с изюмом. Э? Хорошо! Золотые у ней, у Марьи, руки насчёт стряпни. И насчёт всего иного. Пошить ли что, или что другое, всё может!

Ах, хорошая баба моя жена! Вот бы тебе такую, Арефа, а? Такую бы?

– Лает, как собака! – коротко отзывается Арефий, возясь около самовара или уже сидя за столом и макая усы в блюдечко с чаем.

Михайло удивлённо приподнимал брови.

– Лает, говоришь? Так что же? Ну, лает, это, положим, верно. Но ведь без этого у мужчины с бабой невозможно, ни-ни! Потому каждый хочет себя господином чувствовать, а уступать никто не мастер. Я, к примеру, али я уступлю? Ни в жисть!

Сейчас что, – Ма-арья! А коли не берёт в резон, – раз в зубы...

– А она тебя два раз... – хладнокровно вставлял Арефий Гиблый.

– Два раз? Ну поло-ожим!.. А хошь бы и два раз? Али она мне не жена? Имеет право и два раз. Но только я не уступлю и тут. Я ей могу за это прописать такую таску...

– А она тебя отваляет скалкой, как запрошлый раз... – не уступал Арефий.

– Ска-алкой!.. Фу ты! Что она меня скалкой-то каждый день, что ли, дуёт?

Один раз всего и было это. Скалкой! Скажет уж тоже, как чёрт в бочку!..

Наступало молчание. Товарищи пили чай и поглядывали друг на друга.

– Ну, а как у тебя птицы? Живут?

– Смотри!..

– Вижу. Хорошо. Птицы – это великолепно. Вот и я себе заведу птиц...

– Жена-то зажарит их, – иронизировал Арефий.

– Никогда! Она сама любит птицу. Прошлый раз ещё гуся купила одного. И как купила!.. – вдруг оживляется Михайло. – Умная, шельма! Мужик – пьяный, сейчас она на него кричать: «Ты, говорит, пьяный, а я жена унтер-офицера, хочешь, говорит, мужа позову, полицейского – мужа. Он тебя в часть! Ага! Хочешь?» Мужик спьяну испугался да за три гривеника такого ей гуся продал, ух ты! Жулик такой, хитрый, важный, тяжёлый, ровно как наш частный! Нет, братец ты мой, жена у меня – клад. И кабы тебе такую найти, – святое дело! Она бы тебя взяла в руки, ух ты как! И не пикнул бы ты!

– Ну, а хорошего-то тут что? – осведомился Арефий.

– Хорошего тут-то что? Баба! Дух в доме иной, когда баба есть. Дети сейчас пойдут – это раз, чистота – это два, есть с кем поругаться и помириться – это три...

И начиналось бесконечное исчисление прекрасных бабьих качеств. У Михайла был какой-то особенный угол зрения, освещавший и недостатки баб как достоинства.

Бабы – это был его излюбленный конёк, впрочем, сильно конкурировавший с другим – едой. Бабы – это была для него альфа и омега бытия, цемент, связующий все явления жизни в одно стройное целое, сила, дающая всему тон, цвет и суть. Он готов был говорить о бабах часа по три кряду в приподнятом, эпическом тоне, то и дело впадая в лиризм, наводивший на Арефий тоску. Арефий молчал и всё сгибался, точно пробуя залезть под стол от речей товарища, и когда, наконец, его терпение иссякало, он вставал и угрюмо рычал на Михайла:

– Отстань! Будет. Всю душу вытянул.

Этот окрик сокращал оратора, но не смущал его настолько, чтоб уж он совершенно замолчал. Нет, он некоторое время осматривался вокруг и «заводил волынку» снова:

– Печь надо выбелить. Какая же это печь? Фу-фу! мерзость одна. Вот кабы баба-то была...

Но Арефий угрюмо кашлял и внушительно двигал ногой или рукой.

– Не сердись, братец мой! Погоди, сам захочешь. Нестаточное дело, чтоб человек, такой, как ты, жил без употребления...

– Мишка! брось! – стучал кулаком по столу Арефий.

– Ну-ну, не буду, чёрт с тобой!

Несколько минут молчания.

– А пойду я домой! Скоро на дежурство мне. Чай, поди, ждёт Марья-то. Ужин у нас сегодня, их ты какой! Сычуг с гречной кашей и свиным салом... Сок один. Куснёшь, так и

брызнет! Ух!.. Вот и ешь ты погано. Какая это еда? А кабы была у тебя... ну, не буду, не буду, молчу... Иду уж я, иду. Прощай, пошёл уж я. Приходи как ни то ко мне. А где ж Панька? Панька, чертёнок, ты тут где? Нет, видно. Как он, Панька-то, здоров? Чай, всё на улице живёт? Вот тоже и Панькина жизнь, – какая жизнь? А ежели бы баба-то была...

И, наконец, он уходил, сопровождаемый недовольным урчанием Арефия, который долго после его посещения чувствовал себя угнетённым и как бы обвешанным неприятной ему струёй воздуха.

Разговоры Михайла очень редко варьировались, и скоро Панька почти научился предугадывать конец каждой его фразы, слыша её первое слово. Ему не нравилось бритое, лоснившееся от жира лицо Михайла, с мутными глазами, похожими на две оловянные пуговицы, не нравился и голос, самодовольно басовитый, и вся топорная фигура Михайла с короткими ногами и руками и с четырёхугольной, гладко остриженной головой. Наблюдая за ним и за отношением к нему Арефия, Панька дошёл до прямой неприязни к эпикурейцу и стал избегать его, за что и получил прозвище «волчонка». Тятя Арефа, в сравнении с товарищем, был красавец, несмотря на то, что чёрная борода, мощная фигура и сосредоточенное молчание делали его страшным в глазах Паньки.

Из разговора двух друзей Панька не мог много вынести для себя, но всегда становился на сторону молчавшего Арефия и не доверял многоречивому Михаилу. Отношения Арефы к бабам он постепенно перенимал и даже пытался их демонстрировать над Тулькой, которую это сначала удивило, потом рассердило, и в результате однажды Панька явился домой с расцарапанной рожицей и с тайным уважением к женщине.

Арефий спросил его коротко и очень густым басом:

– Это что?

– Упал... об щепки... – ответил Панька и покраснел.

– Ишь... – неопределённо заявил Арефий и посоветовал ему умыться.

А дни текли, и Панька рос.

Вот ему уже девятый год. Он невелик ростом, очень ряб, неуклюж, молчалив, и глаза его не по-детски холодны и разумны. Они с Арефием прекрасно понимают друг друга, и поэтому молчание каждого более или менее красноречиво говорит другому.

Панька учится грамоте у Арефия. Была сделана попытка ходить в приходское училище, но она окончилась печально. Панька не вытерпел более десяти дней отношения к себе товарищей по школе и на одиннадцатый, разбуженный Арефием словами «вставай, пора в школу», поднял голову с подушки и, пристально посмотрев в лицо Арефия воспалёнными от бессонной ночи глазами, проговорил первую со дня своего рождения длинную речь:

– Не пойду я больше туда, хоть утопи, хуже собаки паршивой я там. Только и зóву, что крапивник, подкидыш, рябой чёрт. Не пойду, как хошь. Дома я лучше буду.

Не люблю их я, никого не люблю. Всегда буду биться с ними. Третьего дня нос расквасил учителю сыну, а учитель-то меня на колени – на час целый. Ещё расквашу, всем расквашу, ставь – на! А когда меня побьют, так ничего, я молчу и на колени никого не ставят.

Не пойду я больше, как хошь!

Арефий смотрел на рябое детское лицо, теперь ещё больше исковерканное злобой и негодованием, и молчал, а когда Панька кончил говорить и снова с упрямой и вызывающей миной ткнулся головой в подушку, он коротко, но так, что в окнах дрогнули стёкла, бухнул: «Не ходи!..» И при этом так внушительно посмотрел в ту сторону, где было училище, что Панька дрогнул и закутал голову в одеяло.

Больше о школе не подымалось речи, и учение пошло с грехом пополам дома.

Панька учиться не любил и садился за книжки, как за трудную и неприятную работу, а Арефий, преподавая ему грамоту, не мог, несмотря на своё желание, оживить мёртвые буквы и слова.

Каждый день после чая Панька с хмурым лицом снимал с полки книжки, садился за стол, опёршись локтями о колена, ущемлял свою голову в ладони и начинал качаться взад и вперёд, вправо и влево, при этом бормоча что-то очень неясное и далеко не музыкальное.

Единственным результатом этих приёмов было то, что птицы в клетках сначала умолкали и беспокойно переглядывались друг с другом, а потом вдруг, по сигналу одного задорного чижа, снова принимались свистеть и щебетать на разные лады, как бы обуреваемые злостным намерением выбить мальчика из тесной колеи научных занятий. Они в этом быстро успевали.

Панька отрывал голову от книг и начинал тихонько подсвистывать сначала одному чижу, хорошему певуну, потом некоторое время густым свистом дразнил снегирей, затем подзадоривал щеглят, скребя одним ножом по обуху другого, и, наконец, когда в будке подымался невероятный гам, он вставал на лавку и занимался со скворцом.

Это делалось так: в клетку просовывалась лучинка, и одной лучинкой скворец получал несколько щелчков по носу, что его всегда приводило в большое беспокойство.

Он очень нелепо прыгал на одной ноге по клетке, хлопая крыльями и стараясь поймать проклятую лучинку клювом. Редко он достигал этого и если достигал, то, потеряв её, снова погружался в скептическое молчание, из которого его уже не могла вывести лучинка, а не достигая, – оглашал будку своим свистом, который от времени приобретал всё больше и больше демонстративный характер.

На этом успокаивался Панька и снова садился за книги, но уже не смотрел в них, а смотрел прямо перед собой сквозь стену, и чем больше он упражнялся в этом, тем шире, глубже и осмысленнее становился его взгляд. О чём он думал, едва ли было понятно и ему самому. Есть думы без физиономий и форм; это не мешает им быть тяжёлыми и отравляющими сердце преждевременным знанием тех сторон жизни, не зная которые было бы большим счастьем, если б не было трусостью и не делало людей глупыми.

И так, под неугомонное щебетанье птиц, Панька сидел часа по два. Потом приходил Арефий и спрашивал урок. Панька покойно усаживался на скамье и, туго нажимая пальцем на строки в книжке, выдавливал из них такие сентенции:

– Пы-лой пы-лят...

– погоди! – останавливал его Арефа. – Должно быть не так это. – И, придвигая к себе книжку, шевелил губами. – Не так! Ну-ка, ещё читай.

– Пи-лой пы-лят, а иглой шьют.

– Ну... Пилой ведь написано... Что делают пилой?

– Пилой? – подымая глаза к потолку, соображал Панька. – Дрова пилят.

– Ну, вот видишь! а ты читаешь: пылят, чай, это иже, а не еры.

– Да тут не написано про дрова-то.

Арефий на некоторое время задумывался о том, куда давать дрова, мешающие уяснению научных сведений. Панька ёжился и заявлял:

– Я ведь знаю всё это. Иглой – шьют, топором – рубят, а пером пишут, а вот читать это не умею. Маленькие больно слова-то. И всё разные.

Арефий молча соображал; глядя в книжку, прочитывал наивнейшие фразы и то сомневался в их развивающем и поучающем значении, то удивлялся премудрости составителя книжки, который, по его мнению, подозревал Паньку в предположении, что пилой шьют, а иглой пилят.

В таком порядке и характере проходил час урока. Арефий задавал Паньке повторить зады и ещё «от этого места до этого», и затем оба, вспотевшие от научных трудов, сидели обедать. После обеда Арефий ложился поспать, а Паньке наказывал поглядывать и «коли что», так сейчас же разбудить его.

Панька одевался и выходил на улицу. С улицей он жил далеко не дружно. Его молчаливый, угрюмый характер не привлекал к нему симпатии сверстников, а сам он, втайне завидуя

их веселью и играм, не решался пойти им навстречу. Впрочем, было сделано несколько попыток завязать дружественные сношения, но все они кончались почему-то гомерическими драками и обоюдным озлоблением. Панька не умел увлекаться живой прелестью игр и ко всему относился слишком рассудочно и взросло, это производило на всех охлаждающее и неприятное впечатление. Его избегали наконец, он это чувствовал.

А однажды вышел такой случай: отправились в лес за грибами, и Панька, любивший лес, умягчавший его и навевавший своим меланхолическим шумом на его душу много тёплых и мягких дум, незаметно отбился от товарищей в сторону. Бродя между деревьев и пристально оглядывая землю, он мурлыкал песню, наслаждался тёплым и сочным запахом перегнивших листьев, шорохом травы под ногами и бойкой жизнью букашек, муравьёв... Издали до него доносились голоса товарищей.

- А где ж подкидыш? – крикнул кто-то.
- Вот больно нужно! не потеряется, небойсь!
- Всегда надутый, как сыч или как будочник Арефий...
- А может, будочник и есть его отец?

И ребята звонко засмеялись.

Паньке стало холодно и темно от этих фраз. Он осторожно пошёл вон из леса, чувствуя себя обиженным; но скоро эта обида перешла в злость. Ему захотелось отомстить, и он чувствовал себя вправе сделать это.

Тогда, выйдя на опушку, он крикнул во весь голос тоном радости и интереса:

– Эй, братцы, айда скорей! Что я нашёл! – А когда к нему на голос выбежали двое, он бросился на них и, отколотив обоих, ушёл, сопровождаемый руганью и оскорблениями.

Всё время до самого города они шли в отдалении от него и ругались, смеялись над ним, боясь подойти ближе, ибо он был силен и вступать в открытый бой с ним было опасно, в чём им не раз приходилось убеждаться.

А Панька пришёл домой и тоскливо задумался о чём-то. Арефия не было дома, наступал вечер, в будке было темно и тихо. Тишину нарушали только зяблик и чиж, недавно приобретённые и ещё не успевшие обседеться. Они привлекли внимание Паньки.

Он долго смотрел, как они прыгают в клетке, просовывают головы сквозь прутья, и вдруг, быстро вскочив на стул, снял клетку и, отворив дверцу, высунул её в открытое окно. Птицы быстро улетели. Панька даже не заметил, как это было; отвлечённый в сторону чем-то другим, он снова сел за стол и, положив голову на руки, снова задумался...

Пришёл Арефий.

– Выпустил я птиц-то, – встретил его Панька. Он сказал это вызывающим тоном, и взгляд его сверкал вызывающе.

Арефий посмотрел на стены, потом в лицо Паньки и коротко спросил:

- Зачем?
- Так! – всё с тем же выражением в тоне и глазах ответил Панька.
- Ну... твоё дело.
- А ты что ж не поругаешь меня? – задорно заявил Панька.

Арефий поднял брови и усы кверху и пристально посмотрел в лицо приёмыша.

- Разве я когда тебя ругал? – грустно изрёк он и стал гладить себя по колену ладонью.
- То-то что нет. А все ругают. Уж и ты бы, что ли, вальнул. Всё уж равно.

Арефий смущённо заёрзал по лавке. Панька смотрел на него совсем взрослым и очень злым человеком.

Воцарилось тяжёлое молчание. Даже птицы, казалось, присмирели и слушают, что будет дальше. Но дальше ничего не следовало, кроме того разве, что Панька подобрал под себя ноги и оперся спиной о стену.

Грязные, старые часы, с жёлтым, засиженным мухами циферблатом, отсчитывали секунды, однообразно капавшие в бездну вечности, и были, очевидно, страшно утомлены этой обязательной работой; лениво качавшийся маятник тихо и уныло взвизгивал, вызывая этим звуком у таракана, сидевшего на стене, насмешливые движения усами. Красный луч заходящего солнца пробился сквозь кусты бузины в окно будки и бросил на её пол светлые, колебавшиеся пятна.

– Выпустил птиц – это ничего. Ту птицу, которая бьётся в клетке, нужно выпустить, а если она привыкла, так и пусть её сидит, – это уж и не птица. Хорошую птицу всегда тянет на волю...

Панька поднял голову и посмотрел на Арефия.

– Это ты к чему? – спросил он.

– Так... ни к чему... Подумал, да и сказал... – смущённо ответил Арефий, теребя бороду и чувствуя себя в чём-то виноватым перед Панькой.

– Не сразу тоже скажешь так, как думаешь. Иной раз около своей-то мысли вертишься, вертишься, да и потеряешь её, вся в куски разорвётся... а что рассыпалось, того уж и нет.

– Ну? – внимательно вытягивая голову, вновь спросил Панька.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.